

Полина Барскова

ЧТО ОСВЕТИЛО ЗАРЕВО ПОЖАРА: МЕХАНИЗМЫ И ЦЕЛИ БЛОКАДНОГО ДНЕВНИКОВОГО ПИСЬМА

Писать приходится много, но, едва снимешь перчатки, руки начинает драть и щипать.

Из дневника Нины Обуховой-Духовской

Воздушная тревога

Перед тем, как перейти непосредственно к анализу такого трудного, уникального, противоречивого, захватывающего явления исторического письма, как блокадный дневник, я хочу сделать предположение: одним из наиболее частотных, а также самых важных слов в этом корпусе оказывается слово *тревога* — в двух пересекающихся своих значениях:

Тревога — увижу-ли я Алю (если тревога застает порознь)?

Потеряли счет тревогам! До сих пор каждую тревогу, как опорный пункт, отмечал в дневник...

Но все-таки настроение в Л[енингра]де тревожное.¹

Блокадники вели счет воздушным тревогам (сначала с большим вниманием, затем, когда наступил голод, с меньшим), но также они пытались осознать и укротить свою все возрастающую тревогу, источник которой был и повсюду вокруг, и изнутри. Тревога была связана с полной неспособностью и при этом с нещадной необходимостью понять будущее. Вот как описывает свою первую тревогу филолог Ольга Фрейденберг в одном из самых любопытных блокадных дневников, до сих пор ожидающих полной публикации: «В первую же военную ночь, с 22-го на 23 июня, в городе была объявлена воздушная тревога. Она произвела на

¹ Из дневника А. Бардовского. — Здесь и далее, если не указано иное, примеч. сост.

меня ужасающее действие. Необычайность воздушного налета — убийства с воздуха — потрясла меня. Я лежала, не усваивая, не понимая, не принимая эту странную жизнь, этих странных людей, тиранов в ссоре, заводов взрывчатых веществ, бомб, бросаемых в постели спящих жителей, детей, стариков. Меня трясло, сердце останавливалось.

Потом было много воздушных тревог...»²

Мне кажется, это очень симптоматичная запись: уже 22 июня, до блокады, до всего, сигнал тревоги вызывает парализующие тревогу и ужас, мучительные эмоции, управлять которыми блокадники учились на письме.

Блокадная книга дней — это именно книга тревог, книга о тревоге, о незнании будущего, об отчаянных попытках его спрогнозировать, предугадать, умолить, проникнуть в него (поэтому так часто автор дневника пытается хоть глазком заглянуть сквозь блокадную тьму в будущее, спрашивая у дневника, например, «доживу ли я до Нового Года?»). В этой статье речь пойдет о самых разных назначениях этой формы письма, исторического творчества, но мне кажется, что одна из основных эмоциональных задач — это именно утолнение тревоги, терапевтическое проговаривание, прорабатывание впечатлений, свершений, разочарований, потерь каждого дня, их формулирование и отделение. В связи со всеми этими задачами и в их свете моим первым вопросом является: как сделан блокадный дневник? Что структурирует эту форму, этот случай письма, что общего у разных дневников? Учитывая радикальное различие между авторами: возрастное, гендерное, идеологическое, профессиональное, невероятно разные уровни образования, политические воззрения и мироощущения. В то время как основная задача настоящей серии — представить блокадные дневники во всем их разнообразии, я попытаюсь здесь показать *общие места* исторического случая и блокадного дневникового письма, обозначая рамки специфического жанра.

² Наиболее репрезентативная публикация фрагментов: Фрейденберг О. Осада человека / публ. К. Невельского, [Ю. М. Каган] // Минувшее: исторический альманах. 1987. Вып. 3. С. 9–44. Для этой статьи цитируется по: «Осада человека» — блокадные записки Ольги Фрейденберг // sagittario: аккаунт пользователя в LiveJournal. 2019. 29 января. URL: <https://sagittario.livejournal.com/611179.html> (дата обращения: 14.04.2021).

Один день

Если мы возьмем, практически наугад, любую дневную запись любого блокадного дневника, в первую очередь нас поразит, как все здесь смешано: личное и общественное, семейное и политическое — как «общее перемешивается с частным»³.

Мы обязательно увидим это перемешивание в главной структурной единице, ячейке дневника, которую также можно считать ее микрокосмом: в записи одного дня. Как и в любом дневнике, в блокадном единицей измерения является один день, однако блокадное время меряется по-другому⁴, ибо каждый день здесь может оказаться последним, а значит, каждая запись может оказаться последней, и это осознание, безусловно, влияет на авторов такого письма:

«Будем-ли живы? Каждый Ленинградец ни на минуту не забывает, что в ближайшую ночь он может умереть. На лице каждого это написано...»⁵ (Иногда я думаю, что блокадный дневник, как это ни парадоксально, можно сравнивать с поэтическим сборником: где каждый текст можно читать как отдельно, так и вместе с остальными, в едином повествовательном развитии.)

Именно из-за ощущения возможного подступающего предела (пользуясь термином философа Михаила Бахтина) автор в такую запись пытается вместить максимум возможного, максимум того, что позволяют стремительно и неумолимо тающие силы. Каждая запись дня включает, сопоставляет выжимки самых разных «уровней», слоев жизни, которые оказываются в сложном и любопытном коллажном соотношении:

«Центр внимания — спасти себя. 1–4 дек. съел полагающиеся мне на 10 дней 4 котлетки, чувствовал „ничего“ себя, а 5 и 6 лежал почти весь день пластом от слабости. Аля — энергична. Ходит на рынок, раздобыла как-то паточку, керосин, хряпу⁶.

³ Из дневника А. Бардовского.

⁴ О необычности и разнообразии блокадного восприятия времени см.: Барскова П. Настоящее настоящее: о восприятии времени в блокадном Ленинграде // Неприкосновенный запас. 2011. № 2. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/nekprikosnovennyu_zapas/76_nz_2_2011/article/18864/ (дата обращения: 14.04.2021).

⁵ Из дневника А. Бардовского.

⁶ Хряпа — капустные листья, не употребляющиеся обычно в пищу.

Вчера было нам дали суп без вырезки талона, но сегодня отменили... Подаю заявление в госпиталь — м. б., примут на службу... И вот на фоне этого — исторические события. Вчера узнали, что Англия, наконец, объявила войну Финляндии, Румынии и Венгрии»⁷.

В этой записи тон задан «девизом»: *центр внимания — спасти себя.*

В эту задачу спасения в первую очередь входят поиски еды и подробнейшее описание собственного самочувствия; каждый блокадный дневник — это история болезни, история дистрофии, где тревожное и пристальное наблюдение за собственным самочувствием является центром внимания, и только после регулярного, мучительного акта самонаблюдения автор дневника способен сместить фокус на мысли о жене, службе, государственной и мировой политике.

В записи одного блокадного дня нас часто поражает невероятно стремительная смена регистров, предметов внимания и наблюдения: «К сожалению, радио почему-то сегодня молчит, а газета в понедельник не выходит и я не знаю сводки с фронта. Но я знаю одно — Ленинград блокирован и в то же время дверь для входа разбойникам-гитлеровским людоедам закрыта крепко.

В Ленинграде им не бывать! <...>

Это не убаюкивание себя, а анализ человека, которого учили военному делу в высшем военном советском заведении <...> Записывая я обжог себе большой палец, т. к. лучину держал в левой руке. Спичек мало, а поэтому закуриваю и байбай.

Маленькая деталь вернула меня к записи.

Подготовал постель и тогда почувствовал, что мне необходимо освободиться от шлака. Но ведь уборная-то забита. Оделся и спустился с 5-го этажа. Но увы, куда же итти. Это у меня еще первый раз и тут не все продумано, надо как-то рационализировать эти процедуры. Сегодня нашел пристанище на набережной канале Грибоедова. Летом еще до начала войны начали реконструкцию набережной, разобрали ее и сей час этот ремонт законсервирован.

Вот в одном из ущелий я и пристроился.

⁷ Из дневника А. Бардовского.

Как будет дальше следует подумать»⁸.

Один из наиболее идеологически корректных, даже ретивых авторов дневников этого сборника, пропагандист и организатор похоронного дела в умирающем городе, Анисим Никулин, заполняет информационное зияние плакатной убежденностью, а затем немедленно переключается с самого высокого регистра на самый низкий, физиологический, переходя от высот советской политической сублимации непосредственно к заветным «ущелиям» на набережной в центре города. Каждого блокадного пишущего можно сравнить с камерой одновременно внешнего и внутреннего наблюдения, которая с неистовой скоростью и иступленным напряжением пытается запечатлеть происходящее с катастрофическим городом и горожанином.

В своих наблюдениях здесь я попытаюсь рассматривать отдельно различные пласты, составляющие блокадный дневник, но важно сразу отметить, что именно спонтанное соединение их в одну коллажную ткань повествования составляет принципиальную жанровую особенность дневника. Более того: в такой ситуации коллажного наложения слои и цели письма гибридизируются, подлежат превращениям и перетекают друг в друга.

«Каждый день ощущается, как особо не похожий на предыдущий и следующий. Но все дни одинаковы в смысле небывалой насыщенности»⁹, — замечает наблюдатель, пытаясь сформулировать особенность, остроту дня в блокаде. Если в «обычном» некатастрофическом дневнике дни соединяются, перетекают в годы, то в блокадном происходит двойное натяжение, своего рода *staccato*: важно как течение времени и его аккумуляция (например, в форме тетради), так и каждый отдельный его сегмент, каждый прожитый, преодоленный день.

Я бы хотела здесь отметить, что композиционный фокусирующий прием — один день блокады, один день города в блокаде — был определяющим не только для авторов дневников, но (п)оказался эффективным и профессиональным литераторам: из записок Веры Кетлинской мы узнаём, что осенью 1941-го в городе запустили проект «Один день» — писатели должны были рассказывать об одном дне самых разных учреждений города: больниц,

⁸ Из дневника А. Никулина.

⁹ Из дневника А. Бардовского.

музеев, заводов¹⁰; Лидии Гинзбург выпало описывать один день своего дома, а Евгению Шварцу — один день и одну ночь дежурства на крыше.

Из проекта ничего не вышло, так как власти испугались: именно как бы чего не вышло; но сам принцип привел к значимым последствиям для упомянутых писателей: Шварц и Гинзбург в невозможных для печати записях превратили свой «один день» в метод описания и осознания собственного блокадного опыта.

Позже Шварц озвучит то, что ему покажется корневой проблемой в претворении подобного опыта в письмо: «искусство вносит правильность, без формы не передашь ничего, а все страшное тем и страшно, что оно бесформенно и неправильно»¹¹ — принцип дневникового письма с его незнанием будущего, незнанием, чем все закончится, пристальным вниманием ко всему, что попадает на глаза, воспаленные и усталые (ведь неизвестно, что из этого окажется решающим, от чего будет зависеть жизнь), становится базовым в изобретении Шварцем и Гинзбург нового, «междужанрового», промежуточного способа письма о себе в истории.

Примечательно также, что и у Гинзбург, и у Шварца идея одного блокадного дня привела в итоге к записям по памяти, идея дневника соединилась с идеей воспоминаний, притом что линзы этих двух форм письма, двух жанров очень различны: дневник, как было сказано, фокусируется в первую очередь на настоящем, а вспоминающему (тому, кто знает, что удалось выжить и как именно удалось) интересно восстанавливать связь времен; если в дневнике происходит прежде всего усилие внимания, а также усилие воли в первую очередь к творчеству, к тому, чтобы вечер за вечером отдавать себе отчет в происходящем, в воспоминаниях уже через толщу времени происходит работа памяти и аналитическая интерпретация событий, попытка понять, как именно обстоятельства, решения и поступки в прошлом привели к последующему развитию случившегося, а также вырабатывается стиль описания произошедшего, точка зрения на него уже издалека, со знанием того, как «обернулась» история.

¹⁰ Кетлинская В. Мы знали Евгения Шварца. М: Искусство, 1966. С. 98.

¹¹ Шварц Е. Живу спокойно. Из дневников. Л.: Советский писатель, 1990. С. 6.

Непосредственная задача настоящей статьи — представить блокадный дневник как явление на примерах публикаций этого тома серии, однако некоторые мысли мне представляется полезным проиллюстрировать также фрагментами из других важных, характерных блокадных дневников и связанных с ними видов письма. Так, композиционное явление сложного взаимоотношения разных пластов реальности в рамках одного дня, одной записи, одной дневниковой перспективы с примечательной пристальностью исследует автор одних из самых подробных и эпических ленинградских мемуаров, — архивист Князев, который в своих записях постоянно оперирует изобретенным им термином *малый радиус*, соотнося состояние своего малого круга с большими, удаленными кругами осады: «Честно записываю все, что вижу, слышу, переживаю на моем Малом Радиусе. Для чего? Быть может, вражеская бомба завтра спалит все мои записки. И все-таки пишу. Пусть мой дальний друг читает, что и как переживал один из его предшественников, современник великих и постыдных дел человеческих»¹².

Проблема адресата: для кого ведется блокадный дневник?

Перемещая фокус внимания между малым и большим радиусом, Князев также думает о близком и далеком как в пространстве, так и во времени: он постоянно говорит о будущем читателе, дальнем друге, для которого он, архивист и историк, описывает свою блокадную жизнь. Эта трудноуловимая, сложно выразимая, много-составная фигура — читатель и адресат блокадного дневника — заслуживает особого обсуждения. Чаще всего обнаруживается, что писали для потенциального читателя в будущем; таким образом, вопрос «Дойдет ли до потомства это писание?» становится центральным и важнейшим, пронзительным становится желание пишущего донести до будущего историю своих испытаний, вообще хоть как-то добраться до будущего, если не в жизни, то на письме; но все же при этом, одновременно, дневник пишется и для настоящего:

¹² Князев Г. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945. СПб.: Наука, 2009. С. 33.